

СВИДЕТЕЛЬНИЦА

Кн. 1



ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ОЛИВИЯ КРОСС

18+

Оливия Кросс
Обратная сторона
Серия «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА», книга 1

<https://litres.ru/73999746>

SelfPub; 2026

Аннотация

Десять женщин в десяти веках и одно яблоко, меняющее облик от тёплого послеродового до почти сгнившего. Цикл «ОБРАТНАЯ СТОРОНА» — не богословие и не исторический роман, а археология невидимого: каждая книга отвечает на вопрос, что стоит между человеком и его свободой, и какую цену платит тот, кого не видят.

От раннехристианской Иудеи до XXI века, от монастыря и инквизиции до коммуналки и тайги, серия показывает, как вера, текст, традиция, брак, государство и собственное эго поразному присваивают женский голос. Яблоко — единственный сквозной предмет-свидетель, в каждом веке говорящий о другом.

Первая книга, «СВИДЕТЕЛЬНИЦА», — история Марии, которая первой видит пустую гробницу и понимает: её слово для других — помеха, а не источник. Между правдой и желанием быть «первой» она записывает своё свидетельство — и сжигает

его, потому что перестаёт доверять собственной памяти. Мир продолжается, как будто ничего не случилось.

Оливия Кросс

Обратная сторона

ОБРАТНАЯ СТОРОНА

Книга 1

Глава 1. Храп

Ночью дом дышал чужими телами.

На тесных циновках, прижатых одна к другой, спали женщины. Тёмное помещение казалось одной большой грудной клеткой: стены чуть поскрипывали, доски под перекрытиями отзывались на каждый порыв ветра, а внизу, на полу, тянулся нестройный хор дыханий.

Сначала этот шум сливался в глухой, ровный гул, похожий на далёкое море. Но стоило вслушаться, как общий звук распадался на отдельные голоса.

С краю, ближе к двери, одна из спящих лежала на спине и храпела обрывисто, словно кто-то изнутри рвал старую ткань: хриплый вдох — резкий толчок, пауза, будто воздух передумывает входить, — и новый рывок. Другая, у стены, посвистывала носом тонко, как застрявший в щели ветер, каждый её вдох рождал высокий, чуть дрожащий звук, будто свистит плохо пригнанная крыша. В углу сопела какая-то старуха — почти беззвучно, но в конце каждого выдоха у неё вырывался усталый вздох, похожий на тихое ворчание. Ещё кто-то во сне время от времени подрагивал, царапаясь о циновку, и издавал глухое, звериное «мм», которое в полусне можно было принять за стон или за обрывок слова.

К дыханиям добавлялись мелкие шумы: шевеление грубых покрывал, лёгкий стук пятки о тонкую перегородку, шорох волос по ткани. Иногда среди ночного гама всплывал шёпот — бессвязные фразы, имена, просьбы. Во сне язык всё равно помнил своё дело: этим же тоном днём просили соли, воды или кувшин.

Запахи в комнате тоже не отдыхали. В замкнутом воздухе они лежали слоями, как одеяла на сундуке.

Ближе всего к полу стоял тяжёлый, солоноватый дух пота. Смешивались два его вида: застарелый, въевшийся в циновки и бедные покрывала за многие недели, и свежий, ночной, который тело только что успело выпустить. Выше, как вторая пелена, висел дым вчерашнего очага: пламя давно потухло, но след от него ещё жил в волосах, в складках одежды, в трещинах стен. На этот слой ложился жирный аромат масла — тем самым маслом мазали лампу, кожу, иногда хлеб; оно источало густой, немного прогорклый запах, особенно сильный возле двери, где стояла глиняная посуда с остатками.

Иногда из дальнего угла тянуло сыростью древесины: опёртая о стену палка намокла на прошлой неделе под дождём и до конца не высохла. В этом сыром аромате было что-то родное, вызывающее странное, непрошеное тепло: так пахли навесы в деревне, где в детстве сушили связки трав, навешанные на перекладины.

Среди всех этих тел и запахов, на средней циновке, ближе к стене, лежала Мария. Лицо уткнуто в грубую ткань; из-под щёки поднималось сухое, тёплое тепло — собственное дыхание возвращалось обратно, делая воздух ещё плотнее. Под тканью чувствовалась жёсткость сплетённых стеблей, каждый поворот царапал кожу.

Перевернувшись на спину, она уставилась в темноту. Потолка не различалось: ночь прижалась к глазам так плотно, словно кто-то накрыл лицо ещё одним одеялом. Тем не менее зная дом, Мария легко могла мысленно восстановить, что там, наверху. Днём сквозь щели в досках пробивались тонкие полоски света, по ним удобно было мерить время: сначала лучи тянулись почти по горизонту, затем поднимались всё выше, пока не исчезали. Сейчас никаких линий не было — только сплошное чёрное.

Попытка зажмуриться ничего не дала: внутренний мрак оказался не тише внешнего. Звуки не исчезли, а, наоборот, придвинулись ближе. Храп у двери зазвучал как совсем рядом, тонкое посапывание у стены стало похоже на шепот у самого уха, сопенья и вздохи сплетались в вязкую волну, накатывающую и отхлынувшую с упрямым постоянством.

Комната ощущалась как закрытый рот, наполненный воздухом и чужими голосами. В этом рте приходилось жить, пользоваться им, молиться — и вот теперь ещё и пытаться уснуть.

«Спи», — приказ мелькнул твёрдо, почти сердито.

Тело отвечало отказом.

Ноги не находили себе места: голени ныло, как после долгого пути, мышцы под коленями отзывались тупой болью, стоило только попробовать согнуть или вытянуть ступни. Весь вчерашний день прошёл в движении — по пыльным дорогам, по двору, по каменному полу, по лестницам.

Ступни были ободраны, кожа на подушечках пальцев натянулась, местами треснула; каждый контакт с циновкой отдавался щипком. Поясницу и плечи сводила другая, тянущая боль — память о бурдюках с водой, о котлах, о поднятых и опущенных десятки раз горшках.

Мышцы помнили жар дневного солнца, звездой стоявшего над двором, помнили, как пот стекал по лопаткам и пояснице. Всё это — весь этот прожитый, потраченный день — не соглашался раствориться в одном слове «спать».

Свернувшись калачиком, Мария попыталась найти положение, в котором плоть перестанет протестовать. Прижала колени к животу, подложила под них ладони; спина выгнулась дугой, стало чуть теплее. Но тут же отозвался другой участок — у самого крестца что-то будто тянулось вниз, в землю, холодной занозой. Дыхание сбилось, пришлось выпрямиться.

Попытка перевернуться на бок закончилась столкновением с соседкой: локоть упёрся в чьи-то рёбра. Спящая фыркнула, отдёрнула тело, пробормотала во сне что-то сердитое и, не просыпаясь, подтянула к себе одеяло так, что краем закрыла и часть Марии. На мгновение стало даже уютнее под этим чужим краем ткани, но вместе с теплом пришло и новое чувство тесноты: ещё чуть-чуть — и все sleпятся в одном ком, где не поймёшь, где чьи кости, кто где кончается.

Вся эта общность была привычной — за последнее время они так жили почти постоянно: группами, толпами, вместе. Общее дыхание, общая пища, общие страхи, общее ожидание. Но сейчас, в липкой темноте, это «вместе» вдруг ощутилось чем-то враждебным. Как будто чужие тела не поддерживали, а забирали право на собственное место, на тишину, даже на усталость.

После очередного рывка циновка под Марией смялась, грубые волокна врезались в кожу. Пальцами она нащупала края — солома цеплялась, кололась. В углу рта собрался горький вкус — смесь дневной пыли и ночного молчания.

Вытягивая ноги, она всё же задела босой пяткой что-то тёплое и мягкое — узкую, сухую ладонь соседки. Рука, даже во сне чувствительная к посягательствам, дёрнулась, тут же спряталась под одеяло, как ящерица в щель. Спящая хрюкнула, перевернулась набок, и храп её прервался. Несколько мгновений в комнате воцарилась другая тишина: одни звуки продолжали тянуться, но один, самый назойливый, исчез. Возникла пустота на месте этого рывущего вдоха.

Пустота продлилась недолго. Через пару ударов сердца тот же голос вернулся, только громче, с раздражённым всхлипом в конце выдоха, словно даже во сне хозяйка этого дыхания жалуется, что ей мешают.

В груди у Марии что-то дрогнуло, поднялось, точно пузырёк воздуха со дна. Чувство оказалось таким неожиданным,

что сначала она испугалась, не началась ли вдруг истерика — как у женщин на площади, когда из толпы выносили кого-то бездыханного. Но нет, это был не плач. Внутри поднялся смех.

Нелепость происходящего проявила себя во всей полноте. Там, в недавнем дне, всё городское пространство было заполнено криком: голоса рвались в горло, смешивались, тоновили в собственном шуме. На холме, у перекладыны дерева, воздух вибрировал от слов «крест», «царь», «спаси», от ругательств, насмешек, стонов. Теперь вместо этих слов в уши лезли короткие похрапывания, посвисты, сопения. Великий день мира сменился ночью, где самым громким событием стало то, что кто-то вовремя отдернул руку.

Представление родилось само собой: как-нибудь, через много лет, её спросят: «Где была ты в ту ночь после того дня?» И придётся ответить: «Слушала, как храпят женщины». Ответ прозвучит так, будто говорит о постороннем. Никто не поймёт, почему за этой фразой — вся невозможность сопоставить пережитое и текущую реальность.

Губы дрогнули. Смех подступил ближе, почти коснулся

горла. В нём не было ничего злого — только усталое, удивлённое признание того, насколько мал и смешон мир, когда великое уже случилось, а повседневность не изменилась.

Но следом пришла другая мысль: кто-то же видит. Кто-то, чей взгляд не зависит от света лампы. И этот кто-то заметит не только то, где Мария стояла днём, но и то, что ночью позволила себе смеяться. Не на месте ли? Не слишком ли громко? Не там ли, где подобало бы плакать и бить себя в грудь? Смех встал комом в горле и рассыпался на осколки. Вместо него в груди поднялось знакомое чувство — стыд без причины, как будто уже совершён некий проступок, хотя ничего ещё не произошло. Щёки, даже в темноте невидимые, запылали жаром.

Скрип циновки под ладонью вывел из этих мыслей. Мария поднялась, стараясь не производить шума. Кости словно хрустнули, но звук утонул в общем гуле. Колени подогнулись, и пришлось на мгновение опереться о стену, чтобы дождаться, пока кровь разойдётся по затёкшим ногам.

Грубый плащ лежал там же, где был брошен вечером, — свернутый у изголовья. Пальцы на ощупь различили шерохо-

ватую ткань, не до конца выстиранную от старого пота и дыма. Плащ был тяжёлым, немного влажным по краю, но плечи охотно приняли этот груз: всё, что отделяло кожу от воздуха, казалось сейчас благом.

Пол под ступнями встретил резким, резаным холодом. Глиняная утрамбованная земля, ещё не успевшая отдать дневное тепло, теперь тянулась сыростью. Каждый шаг отзывался в пятках ломотой, в пояснице — стрелой. Но эта боль отличалась от той, что мешала уснуть: движение наконец-то направляло её куда-то вовне.

Протискиваясь мимо лежащих, Мария двигалась вдоль стены. Циновки шуршали, грубые ткани цеплялись за край плаща. Где-то бормотание усилилось: чьё-то ухо уловило необычный шорох, и мозг отозвался, но тело не проснулось. Несколько задержанных вдохов — и всё вернулось к прежнему ритму.

У самой двери, на низком глиняном выступе, дотлёвывала лампа. Масло в узком чёрном сосуде почти закончилось: прозрачная лужица у дна еле покрывала фитиль. Пламя тянулось вверх длинным, удлинённым язычком, всё время ко-

лебясь, будто кто-то невидимый дышит на него. Свет был слабым, рыжим, тусклым — он не осиял всю комнату, только выхватывал из темноты ближайшие очертания: край плаща, трещину в стене, кусок циновки.

Мария остановилась рядом, прикрыв ладонью пламя от сквозняка. Тень от пальцев легла на стену размытой пятнистой кляксой. На короткий миг пришло искушение просто задуть огонь. Одним резким выдохом — и всё здесь окутает подлинная тьма, такая, в которой даже собственные руки не видно. В такой темноте легче поверить, что явленное днём чудо не было сном. Легче беречь в себе какой-то огонёк, когда внешние погасли. И, может быть, незаметное, личное свидетельство лучше сохранится там, где его не сравнивают с чужими словами.

Но за этой мыслью встал другой образ: проснувшиеся от холода женщины, которые вслепую тянутся к полке, щупают пустоту, зовут друг друга. Кто-то ругается, кто-то плачет. И все ищут виноватого. Виноватая будет одна.

Алчность к тьме показалась почти детской. Палец опустился к фитилю, чуть поправил его, чтобы масло ещё

немного держало этот тонкий огонь. Пламя послушно подобралось, засияло ровнее. Лампа, казалось, вздохнула, отложив собственную смерть.

— Спите, — вполголоса сказано было не столько к людям, сколько к дому.

Ответом снова послужил храп у двери, свист у дальней стены, бесконечное, вязкое дыхание.

Дерево в косяке тихо скрипнуло, когда ладонь легла на замок. Доска двери была шершавая, с заусенцами; одна такая зацепилась за кожу, оставив тонкую царапину. Щёлкнула деревянная задвижка. Холодный поток воздуха сразу врезался в щёлку, как вода в трещину плотины.

Когда створка приоткрылась, ночной воздух прихлынул всем телом — сухой, прохладный, с привкусом золы и пыли. Ноги окутал холод, поднявшийся от земли, словно по щиколоткам прошла невидимая река. Кожа на лодыжках покрылась мурашками, вдох стал резче и глубже.

Снаружи темнота была иной. Там, внутри, она была плотной, вязкой, наполненной дыханиями и запахами. Здесь ночь оказалась пустой, почти лёгкой. Воздух не давил — наоборот, казался недостаточно густым, чтобы опереться. Звуков вокруг почти не слышалось. Где-то далеко глухо лаяла собака, ещё дальше, на склонах, кричала ночная птица. Рядом с домом никаких голосов не было — только редкое потрескивание остывающих камней, на которых днём сидели люди.

Дверь за спиной закрылась почти бесшумно. Дом остался позади, как живое существо, смежившее веки. Общий бессмысленный храп остался внутри, за деревянной доской. Здесь, во дворе, вздохи принадлежали только ночи.

Мария стояла, давая глазам привыкнуть к новому мраку. Потолка теперь не было вообще; вместо него над головой раскрывался рыхлый купол неба. Звёзды висели низко, густо, как зёрна в разрезанном хлебе. Они казались неподвижными, но если долго вглядываться, начинало чудиться, что свет дышит — медленно, в такт её собственным вдохам.

Под босыми ступнями чувствовалась утрамбованная земля двора: твёрдая, с редкими камешками, которые больно

впивались в кожу. Где-то рядом оставалась тёплая ещё полоса, где днём был очаг. Там земля казалась мягче, немного липкой от пролитого жира. Чуть поодаль начиналась сухая, пыльная поверхность, на которой нога скользила, оставляя еле видимые следы.

Ночной холод быстро нашёл слабые места под плащом. По краю шеи пробежал ледяной язычок; ворот зашуршал, когда пальцы подтянули ткань выше. Лодыжки, колени, щиколотки мгновенно окутала зимняя память, хотя время стояло не зимнее. В воздухе не было влажной стужи, только тонкая, сухая прохлада. Но усталым костям и мышцам хватило этого, чтобы вздрогнуть.

Где-то слева чернела стена соседнего дома, дальше угадывались силуэты кустов, знакомых по дневному виду. В глубине двора темнел очерк большого камня, на котором днём сидели, спорили, молились. Сейчас этот камень казался пустым местом в ночи, как выбитый зуб.

Мария сделала несколько шагов от двери. Каждый шаг отзывался во всём теле. Земля, казалось, чуть пружинила под пятками — не оттого, что была мягкой, а потому что внутри

жил ещё звенящий, невыпущенный из мышц день. Или — то, что случилось днём.

Отступив подальше от дома, она обернулась. Сквозь щель в ставне пробивалась тонкая, бледная полоска жёлтого — свет лампы всё ещё держался. Эта полоска казалась ниткой, связывающей её с миром, где люди умеют спать.

Небо, распростёртое над двором, было не просто фоном. В эти дни каждый, кто поднимал глаза, видел не только звёзды. С недавнего времени любое небо казалось чем-то вроде большой сцены: там, наверху, откуда никто не возвращается, воображение дорисовывало фигуру — стоящего, поднимающегося, исчезающего. Даже сейчас, когда в почерневшем куполе не происходило ничего, кроме медленного мерцания, мысль всё равно упрямо возвращалась к той пустоте, что вчера открылась всем во дворе римлян.

Внутри под этим небом жили те же стены, тот же скрип дерева, тот же храп. Между ними — одни и те же тела, те же щели в потолке, те же кувшины, в которых вода пахнет глиной. Вся разница заключалась в том, что после казни и той пустой гробницы каждое дыхание казалось либо слиш-

ком громким, либо недостаточно глубоким. Как будто весь мир обязан был задержать воздух в грудях в знак уважения. Но мир не задерживал.

Мария втянула воздух глубже, чем прежде. Вкус ночи отличался от комнатного: вместо кислого запаха пота и масла в ноздри ударили сухая пыль, лёгкая горечь золы, тонкие ноты трав, растущих у стены. На языке появилась терпкая шероховатость, как от недоспелого плода. Этот вкус больше подходил словам, которые в ней вертелись, чем спертый, потный воздух комнаты.

Где-то во дворе зашуршало — по-кошачьи мягко. Из темноты, обогнув камень, выскользнула маленькая тень: соседский мальчишеский кот, вечно голодный. Зверёк остановился на полпути, глянув на неподвижную фигуру, потом равнодушно отвернулся и занялся своим делом — обнюхал землю у очага, нашёл что-то съедобное, стал возиться. Его равнодушие резануло: мир был способен принять и этот день, и эту ночь так же спокойно, как любой другой кусок мяса, найденный под столом.

Впервые за несколько часов к горлу подступили не слёзы

и не смех, а почти ровный, устойчивый гнев — тихий, без слова. В этом гневе не было адресата: ни к женщинам за стеной, умеющим спать, ни к римлянам, ни к тем, кто стоял и молчал сегодня рядом с ней.

Больше всего этот жар был направлен куда-то внутрь — против того, что в середине всех этих событий её собственное тело оказалось по-прежнему мягким, уязвимым, зависящим от воздуха, тепла, покоя. Никакой новой святости или окончательного знания не поселилось в костях; там по-прежнему жили усталость и голод.

Холод толкнул к движению. Сжав полы плаща, Мария двинулась к краю двора, где низкая стенка отделяла дом от узкой, сбегаящей вниз тропы. Тропу она знала: по ней днём носили воду, еду, вести. Сейчас она выглядела просто полосой чуть более светлой земли, идущей между двумя темными массами камня.

Дальше была дорога. Дорога вела к месту, где последнее время сходились почти каждый день. А за дорогой — склоны, где земля помнила кровь и пыль.

Ступив на начало тропы, Мария невольно остановилась. Всплыл образ: как кто-то спросит когда-нибудь не только: «Где ты была ночью?», но и: «Почему пошла?» Ответа по-прежнему не было. Неужели потому, что в доме не хватило воздуха? Неужели великие повороты истории совершаются из-за чьего-то храпа?

В груди что-то отозвалось короткой, нервной улыбкой. Эта мысль не была смешной, но была правдоподобной. Усталость, чужой сон, теснота — и вот уже ноги сами ищут холодной земли, которой можно остыть.

Впереди лежала ночь, дорога, неизвестность. Позади остались дом, лампа, общая тьма с храпом. Сдвинуться с места означало признать: покой в этом доме больше невозможен.

Мария шагнула вперёд.

Глава 2. Гробница

Дорога в темноте казалась уже, чем днём.

Днём по ней ходили всем двором, иногда целой толпой: мужчины спорили, дети бегали наперегонки, женщины обменивались новостями, несла кто воду, кто хлеб. В солнечный час тропа жила: в пыли оставались следы, по обочинам стояли босые стопы, на камнях сидели старики. Сейчас все эти следы были только в памяти. Глазам дорога открывалась как бледная полоса земли, чуть светлее камня по сторонам, проложенная от ворот к склону.

Мария шла медленно, давая ступням время привыкнуть к ночному холоду. Земля под ногами была неравномерной: где-то твёрдая, утрамбованная, где-то рыхлая, просевшая после вчерашних шагов. Камешки, невидимые в темноте, впивались в кожу, заставляя тело отмерять путь не глазами, а болью. Каждый укол говорил: «Здесь ты была сегодня. Здесь тоже. И здесь».

Воздух остывал сильнее по мере удаления от дома. Тёплый дух человеческих тел, который ещё тянулся из щели в двери, быстро растворился; впереди ночь становилась суше, прозрачнее. Запах дыма от очага исчез, уступив место сырости земли и тонкому аромату трав, растущих в трещинах камней. Иногда ветер приносил что-то горькое, терпкое —

возможно, от кустов ниже по склону, возможно, от костров вдалеке.

Слева, чуть выше тропы, тёмной стеной нависал дом соседа. Справа склон уходил вниз, и там, внизу, угадывались редкие огоньки — чьи-то лампы, забытые во дворах, чей-то поздний очаг. Эти редкие точки света казались чужими островками в море ночи. До них не было дела; чужой свет напоминал: не весь мир остановился на том, что было вчера. Кто-то сейчас пил воду, ругался с женой, кормил ребёнка. Для кого-то этот день был просто ещё одним днём.

Шум города почти не поднимался сюда. Лишь отдалённая, едва слышная глухота — может быть, стук закрывающихся ворот, крики стражников, запоздалое ржание осла. На краю слуха, как память, лежал дневной гул — уже не настоящий, но ещё живой в ушах. Фразы, звучавшие у креста, всплывали обрывками: «Сойди», «спаси себя», «он звал», «молчи». Они не были больше голосами, ни один не отличался от другого. Остался только общий шум.

Ноги шагали сами, тело знало путь лучше мыслей. Вчера оно уже прошло его раз, потом — обратно, потом снова, в

разговорах, в пересказах. Сейчас каждое движение казалось продолжением того дня. Никакого особого решения выходить из дома Мария не принимала — просто не смогла там оставаться.

Земля под ступнями наклонилась — тропа начала спускаться. Это место она узнала по наклонённому камню слева, о который сегодня днём споткнулся один из мальчишек, когда бежал вперёд. Тогда все рассмеялись: мальчик вскочил, отряхнулся, сделал вид, что сам посмеялся первым. Мария тоже улыбнулась, но почти сразу забыла. Сейчас этот камень было не забыть: холодный край ударил в бок ступни, вызвал острую боль, и на эту боль наложился тот короткий, дневной смех — неуместный, как весёлое слово на похоронах.

Путь между домами вскоре закончился. Дальше тропа выходила к более широкой дороге, идущей вдоль склона. Здесь серый камень проступал уже не полосами, а целыми плитами. Местами он был выровнен ногами, иногда — разбит колесами повозок. В трещинах росла жёсткая трава, серая в темноте. Вдоль дороги, чуть дальше, чернели тени деревьев — низких, редких, но дающих днём спасительную тень.

С этой точки уже было видно, куда ведёт путь. Чуть пониже, обогнув плечо холма, дорога тянулась в сторону садов и дальше — к месту, куда вчера стекались все. Там, за поворотом, начиналась другая земля: глина, пропитанная кровью и потом, смешанная с пылью города. Там недавно стояли кресты. Теперь, знала Мария, деревянные столбы, возможно, уже сняли или вот-вот снимут; римляне не любили оставлять лишние напоминания. Но запах, который поднимался оттуда, никуда не делся.

Оттуда же веял ещё один привкус — железа, ржавчины, чего-то тёмного на языке, что вспоминается, когда чешешь ногтем порезанный палец.

К гробнице дорога сворачивала чуть раньше, до открытой площадки. Узкая тропка отделялась от общего пути, забирала вправо, в сторону склона, поросшего кустами. Там, среди камней, зияли тёмные входы — выдолбленные в породе отверстия, ведущие в прохладную утробу земли.

По мере приближения воздух потяжелел сыростью. Камень вокруг впитывал дневную жару, а ночью возвращал её в виде плотного, влажного холода. Ступни нащупали более мягкий грунт — не просто утрамбованную землю, а

смесь крошки породы и когда-то перелопаченной, насыпанной почвы. Здесь приходили не только смотреть. Здесь заканчивались многие дороги.

Мария шла тише. Не было никого, кого можно было бы разбудить, но память сама заставляла приглушать шаги. Вечера здесь тоже сначала старались говорить шёпотом. Потом голоса всё равно взлетели, как всегда при горе и страхе.

Склон она доверяла хуже, чем домашнему двору. Ноги нащупывали выступы камней, осторожно переступали через низкие, почти невидимые бороздки, где вода когда-то срезала землю. Один раз ступня поехала на влажном месте, пальцы судорожно сжались, пытаясь удержать равновесие, сердце маленько ударилось где-то в горле. Удалось устоять, только плащ задел за шершавый куст, и ветка с тихим треском сломалась.

Этот звук — тонкий, сухой — показался слишком громким. Мария замерла, прислушиваясь. Но вокруг, кроме еле слышного шуршания ночного ветра в дальних кронах и тихого потрескивания где-то на склоне (может быть, мелкий камешек сорвался и покатился), ничего не было. Город спал.

Римский пост внизу, у дороги, наверное, тоже лениво дремал, перекидываясь словами. Здесь, у гробниц, никто не патрулировал.

Поворот тропы открыл вид на скалу. В дневном свете эта часть склона выглядела почти белой: вырубленные плоскости, ниши, чёткие края, от которых бросались резкие тени. Сейчас всё слилось в один тёмный массив. Но глаза уже привыкали, и тьма начала делиться тонкими оттенками: вот более глубокий провал входа; вот чуть светлее выступ камня; вот где-то наверху чернеет куст, цепляющийся корнями за трещину.

Гробница, к которой она шла, выделялась положением. Вход её был закрыт круглым камнем, когда-то насмерть прижатым к проёму. За этот камень днём тянулись мужские руки: одни пытались придвинуть его, другие — отодвинуть. Днём он казался неприступным. Сейчас, в темноте, выглядел лишь чуть более светлым кругом на фоне стены.

Мария остановилась за несколько шагов до него. Глаза нащупывали в полумраке знакомые линии. Опознала сначала обломанный угол у левой кромки, потом резкую царапину

справа — вчера один из солдат, опершись копьём, оставил там след. Всё это было на месте.

И только главное — нет.

Камень больше не прижимал вход. Вместо ровного круга, закрывавшего чёрное отверстие, Мария увидела сдвиг. Бледный диск был отодвинут — не полностью, но достаточно, чтобы между ним и краем проёма возник зазор. Не щель, в которую едва пролезет мышь, а настоящая, человеческая пропасть; камень отъехал в сторону, обнажив край тьмы.

Первой мыслью не было слово «чудо». В первый миг разум, ещё не успевший выстроить дозволенные объяснения, выдал другое: «Не успели. Кто-то пришёл раньше». Раньше — значит, не из своих. Мужчины, с которыми она сюда ходила, договаривались прийти позже, когда окончательно убедятся, что опасаться нечего. Значит, кто-то другой счёл, что ждать нельзя.

Связка предположений промелькнула быстро: воры, солдаты, родственники других умерших, римляне, решившие

проверить, нет ли там оружия или чего похуже. Варианты накладывались друг на друга, но ни один не стыковался с тем, что Мария знала. Не было привычных следов — ни огарков, ни брошенных верёвок. Перед входом земля была тронута, но не так, как бывает после грубых рук. Тёмный круг камня, стоявший сдвинутым, не выглядел поверженным; скорее, его передвинули аккуратно, без спешки.

Внутри, за отодвинутым кругом, зияла плотная тьма. Из неё тянуло холодом другого рода, чем ночной. Если воздух снаружи был просто свежим, прохладным, то из глубины веяло затхлым, стоячим холодом, в котором уходящее тепло камня смешалось с чем-то неподвижным, застарелым. Эта прохлада не была враждебной; скорее, казалась чужой человеческому дыханию — как вода в колодце, в который никто давно не заглядывал.

Страх подступил не сразу. Сначала почувствовалось почти облегчение: хоть что-то здесь изменилось. После дома, где всё оставалось как всегда, после храпа, запахов, тесноты — эта сдвинутая тяжесть означала: то, чему Мария была свидетельницей, продолжилось, не остановилось на том крике и последнем вздохе.

Она подошла ближе, чувствуя, как холод из гробницы смешивается с ночным. Ступни натолкнулись на край неглубокой выемки перед входом; здесь днём копились мелкие камешки и пыль. Теперь там было пусто, чисто, словно кто-то смёл все следы. Наклонившись, Мария всмотрелась в темноту.

Глазу сначала не за что было уцепиться. Чёрная пасть гробницы могла скрывать что угодно: тело на каменном ложе, свёртки ткани, сосуды, пустоту. Но чем дальше она смотрела, тем отчётливее вырисовывались очертания внутреннего пространства. Прямоугольник пола. Стены, уходящие внутрь. Низкий свод.

И что-то ещё: отсутствие. Там, где вчера днём мужчины укладывали тело, где она видела ноги, завёрнутые в полотно, теперь не угадывалось ничего. Никакого светлого пятна ткани, никакой человеческой формы. Только камень.

В горле пересохло. Язык прилип к нёбу, будто под ним оказалось небо, на котором стерли все звёзды.

В этом месте, в эту минуту ожидалась смесь чувств: ужас, восторг, неверие, радость, недоверие к себе. Но первым пришло что-то другое — нелепое, острое, почти оскорблённое: «Так не делают». Так не делают с телами. Так не делают с памятью. Даже римляне, даже те, кто растаскивает вещи казнённых, редко трогают мёртвых после того, как их уже отдали земле. Если уж тело ушло под камень, его оставляют там, заключённым, успокоенным, завершённым.

То, что открывалось ей сейчас, не было ни завершением, ни покоем.

Слово, которое она когда-то слышала, когда рассказывали старые истории о пророках, всплыло медленно, нехотя: «воскрес». Но оно показалось слишком лёгким, блестящим, как игрушка на грязной дороге. Слишком выученным. Слишком готовым, чтобы точно назвать то, что происходит перед глазами.

Зрение металось: если не смотреть в самую тьму, можно было уцепиться за что-то конкретное. За царапины на каменном пороге. За кусок верёвки, случайно оставленный рядом. За складку ткани, зацепившуюся за выступ. Но ничего этого

не было. Даже запаха, которого она ожидала, не было. Гробница пахла не телом, не кровью, не пряностями, которыми натирали умерших, а влажным камнем, пылью и чем-то ещё — как будто туда заходил ветер, где прежде его не было.

Колени вдруг стали мягкими. Земля под ногами чуть покачнулась, как бывает у края колодца, когда смотришь слишком долго вниз. Пришлось опереться ладонью о камень у входа, чтобы сохранить вертикаль. Кожа сразу чувствовала шершавость поверхности, мелкие вкрапления в породе, холод, впитавший ночь.

Теперь, в этой позе — наполовину согнувшись, с рукой на камне, с лицом, обращённым к чёрному провалу, — она выглядела так, будто собирается войти. Но телу не хотелось двигаться вперёд. Чувствовалось нечто вроде границы: не начерченной, не обозначенной, но осязаемой — как когда стоишь перед храмом и понимаешь, что шаг внутрь уже не будет просто шагом.

В памяти, словно подсказка, всплыло: «не тронь». Слова кем-то когда-то сказанные — может быть, вчера, может, в другой день, может, во сне. В этих словах было не запреще-

ние, а просьба.

Однако стоять тоже было нельзя. Ночь, которая по пути казалась пустой, теперь наполнилась чем-то, что молчало в ответ на её дыхание. Если остаться молча, это молчание заполнит Марии рот, лёгкие, уши.

Голос, вырвавшийся наружу, прозвучал тише, чем хотелось.

— Учитель... — это слово прозвучало старым именем, ещё с тех времён, когда они слушали его на улице, с камня, под навесом.

Ответа, разумеется, не последовало. Ночь отозвалась только тем, что из гробницы выдохнулось чуть больше холодного воздуха, как если бы кто-то внутри пошевелился, но не подошёл к входу.

Вопросы, готовые сорваться, давили к горлу. «Где ты?», «что это значит?», «что мне делать?» — но все они казались не теми. Вчера на холме вопросов было слишком много, и

все они тонул в общей крике. Сейчас любое слово чувствовалось лишним.

Вместо вопроса родилась мысль: раз уж не нашлось тела там, где оно должно было быть, место свидетельства сдвинулось. От каменного ложа — к её глазам, её рукам, её памяти. До этой минуты всё, что она знала, можно было разделить с другими: они тоже видели, тоже слышали. Теперь что-то важное оказалось доверено одному человеку. Даже не доверено — просто оказалось, что, кроме неё, здесь никого нет.

Это знание не было приятной избранностью. Оно давило — как если бы камень, который отодвинули от входа, перенесли на её плечи. Тяжесть, не имеющая формы, но требующая быть вынесенной.

Одновременно зародилось другое, тихое, почти стыдное тепло: она первая. Та, кто увидела это место пустым, не потому что пришла храбрее или вернее остальных, а потому что не смогла уснуть из-за храпа в доме. И всё же факт: сейчас никого, кроме неё, здесь нет.

«Если я промолчу, — мелькнуло, — никто не узнает, как это было». А если скажет, то всё, что видится сейчас, будет навсегда связано с её голосом — с тем, насколько ровно или дрожащим он окажется, какие слова подберёт, что упустит.

Днём, когда она стояла у подножия креста, казалось, что важнее всего — нести боль, выдержать взгляд, не отвести глаз. Теперь выяснилось, что настоящая тяжесть началась сейчас, здесь, у пустого камня.

Долго стоять перед провалом было невыносимо. Зрение уставало от чёрного, мысли начинали крутиться по кругу. Мария, не отрывая ладони от камня, чуть отступила назад, чтобы выпрямиться. Холод с его шершавой поверхности успел пропитать кожу: пальцы словно остались там, у входа, даже когда рука отнялась.

Она огляделась. Вокруг, чуть поодаль от гробницы, лежали мелкие обломки породы, валялись несколько высохших веток. Никаких следов борьбы, никаких лент, никакого беспорядка, характерного для поспешного вторжения. Небо над скалой было таким же, как над домом: тёмный купол, усыпанный бледными точками. Белёсая полоса чуть севернее

напоминала о далёких облаках или дорожке звездной пыли.

Почувствовав, как к ступням подбирается предательский озноб, Мария шагнула в сторону, обходя вход полукругом, словно хотела увидеть гробницу с другого ракурса, убедиться, что всё это не обман зрения. Но откуда ни посмотри — картина оставалась одной и той же: камень сдвинут, внутренняя тьма пуста, воздух холоден и недвижим.

На миг мелькнуло желание дожидаться рассвета прямо здесь. Сесть у входа, прижаться спиной к скале, позволить первому свету самому пролезть внутрь и осветить всё, до последнего угла. Пусть утреннее солнце скажет, нет ли там чего, что сейчас скрыто ночью. Но тут же стало ясно: свет не освободит от необходимости назвать увиденное. Наоборот, сделает его ещё острее.

Солнца сейчас не было, зато в груди тлел другой, беспокойный огонь — потребность сказать, что видела, кому-то ещё. Дышать этим одной было похоже на то, как если бы оставили на попечении бурдюк с вином и велели никому о нём не говорить. Ощущение соли и терпкости во рту усиливалось.

Губы сами прошептали:

— Никто не поверит.

Сначала фраза прозвучала как жалоба. Потом — как констатация. В памяти всплыли лица: Пётр, горячий, прямой; Иоанн, вечно склоняющий голову набок, как птица, слушающая внутренний звук; другие — кто-то будет спорить, кто-то сразу найдет объяснение попроще. И все они скажут: «Ты была взволнована», «ты устала», «ночью легко перепутать», «нам нужно посмотреть самим».

Их право. Их долг. Но пока они придут, пока убедятся, пока найдут слова, чтобы подтвердить или опровергнуть, эта первая минута останется только в одной голове. И то, как она будет помнить её, уже сейчас начало меняться. Внутренний голос осторожно напомнил: если уж станешь говорить, придётся выбрать, как именно. Можно сухо сказать «камень отодвинут, тела нет, внутри пахнет камнем». Можно — «Он воскрес». Можно рассказать о своей дрожи, о том, как стало мягко в коленях, как смешался страх с облегчением. Каж-

дое из этих рассказов будет правдой и ложью одновременно: правдой в том, что касается слов; ложью в том, что невозможно полностью переложить пережитое.

Мария поймала себя на том, что уже мысленно отбирает обороты, выбирая не самые точные, а самые убедительные. Те, какие произведут должное впечатление на мужчин, привыкших спорить в дворике. И в этот миг внутри шевельнулось что-то неприятное: будто не только память, но и само событие начинают редактироваться в угоду слушателям.

Гробница молчала. Камень стоял там же, где его оставили невидимые руки. Ветер, если он и был, не решался проникнуть внутрь.

Мария отступила ещё на шаг, затем ещё. Сейчас всё, что происходило, можно было оборвать одним жестом: повернуться, уйти, вернуться в дом, лечь на циновку, сказать утром, что не ходила никуда. Тогда внутри всё это останется неоформленным, как сон, который утром забывают. Но что-то глубже привычных страхов уже успело наметить линию: путь назад не отменяет того, что увидено.

Повернувшись к тропе, ведущей обратно, она задержалась на пол-движения. В груди тяжело, вязко зашевелился непрошенный вопрос: неужели тот, которого положили сюда, ушёл так же тихо, как она уходила сейчас, не разбудив никого? Не позвав? Не оставив отметки?

Если да — значит, служение его продолжилось в тишине. Если нет — значит, здесь произошло нечто ещё более непонятное. В любом случае, решать, как об этом говорить, предстояло живым.

Дорога назад показалась круче, чем спуск. Ступни больше чувствовали каждую неровность; под ногами сыпались мелкие камешки. Ветер, если его можно было так назвать, стал злей; на открытом месте, вдали от склона, он находил щели в плаще и бил прямо в грудь. Она поймала себя на том, что почти торопится — как человек, который вышел из дома «на минуту» и вдруг понимает, что задержался гораздо дольше.

За спиной оставалась гробница — с тьмой, с холодом, с отодвинутым камнем. Впереди ждал дом — с храпом, запахом масла, смехом, который так и не вышел наружу. Между

ними где-то застряло то, что теперь придётся нести, как кувшин с водой: осторожно, стараясь не расплескать, и при этом понимая, что всё равно часть выльется по дороге.

Мария шагнула туда, где начиналась более широкая дорога, и впервые за эту ночь подумала: может быть, самое трудное — не увидеть пустой камень, а потом обратно войти в дом.

Глава 3. Помеха

Двор ещё не успел окончательно проснуться, но ночь уже отступила.

С неба стекал блеклый, водянистый свет — не солнце, ещё нет, только его предвестие. В таком свете вещи выглядели чужими самим себе: камень двора — более серым, чем обычно, стены — выше, чем при дневном взгляде, люди — бледнее, как будто их только что вынули из воды.

Мария вернулась, когда этот свет уже просачивался между домами. Дверь поддалась с лёгким усилием; тёплый, тя-

жёлтый воздух комнаты пахнул ей в лицо, как дыхание зверя. Лампа у входа погасла сама, оставив после себя лишь грязное пятно масла на глине и стойкий запах гари.

Женщины всё ещё спали, но сон был другим. Ночные, глубокие, тяжёлые вдохи сменились неровным, тревожным дыханием на границе пробуждения. Одна ворочалась, стягивая одеяло на себя; другая уже лежала с открытыми глазами, но не двигалась, словно ещё не решила, стоит ли вставать в новый день. В темноватом полумраке зрачки казались широкими, выцветшие ткани — чужими.

Мария прошла к своей циновке, стараясь не задевать других, и опустилась на жёсткую, уже остывшую ткань. Тело восприняло знакомую поверхность с благодарностью: по сравнению с неровными камнями склона даже жгучая солома показалась мягкой. Но покоя не наступило. Внутри всё ещё шёл путь, ещё чувствовался под ногами склон, холод, глухая пустота гробницы.

За стеной кто-то зевнул вслух, протяжно, со стоном, точно отпуская из себя вчерашний день. Шорохи множились: стук кувшина о край стола, глухое «ой» — кто-то ударился паль-

цем о ножку ложа, тихий смех в ответ. Мир начинал свою обычную утреннюю работу, не советуясь ни с камнями, ни с гробницами.

— Вставайте, — голос хозяйки разрезал полутьму, как нож. — Воды надо принести, тесто поставить.

Сквозь сон и тишину поднялся привычный, вялый ропот. Кто-то пробурчал: «Ещё темно». Кто-то откинул одеяло и сел, тихо ругаясь на холод пола. В этих голосах не было вчерашней истерики и сегодняшнего откровения. Было — «надо».

Мария поднялась вслед за другими. Плечи отзывались ломотой, но теперь эта боль будто отступила на второй план. Каждый жест давался легче, чем должен был — как будто тело догадалось: если не включиться в общие движения, голова разорвётся от того, что несёт одна.

Вода, принесённая из колодца, оказалась ледяной. Когда Мария поднесла к лицу кувшин, капля скатилась по запястью, оставив за собой тонкую, остро холодную дорожку.

Этот физический холод показался почти приятным — в отличие от того, что до сих пор стоял у неё внутри, у самой груди. Ей хотелось облиться из кувшина с головы до ног, чтобы смыть с себя ту ночь, наполненную камнем и пустотой, но она только несколько раз плеснула воду на лицо, на шею, на руки. Кожа вздрогнула, кровь под ней чуть ускорилаь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.